

А н д р е й И в а н о в

исповедь лунатика

Андрей Иванов

ИСПОВЕДЬ ЛУНАТИКА

Роман

Е
Ш

Редакция
Елены
Шубановой

АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
И 20

Оформление переплета — *Ирина Сальникова*

Фото автора на переплете — *Александр Тягун-Рядно*

Иванов, Андрей Вячеславович.

И 20 **Исповедь лунатика / Андрей Иванов.** — Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. — 348, [4] с.

ISBN 978-5-17-088594-7

Андрей Иванов — русский прозаик, живущий в Таллине, лауреат премии «НОС», финалист премии «Русский Букер». Главная его тема — быт и бытие эмигрантов: как современных нелегалов, пытающихся закрепиться всеми правдами и неправдами в Скандинавии, так и вынужденных бежать от революции в 20–30-х годах в Эстонию («Харбинские мотыльки»).

Новый роман «Исповедь лунатика», завершающий его «скандинавскую трилогию» («Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар»), — метафизическая одиссея тел и душ, чье добровольное сошествие в ад затянулось, а найти путь обратно все сложнее.

Главный герой — Евгений, Юджин — сумел вырваться из лабиринта датских лагерей для беженцев, прошел через несколько тюрем, сбежал из психиатрической клиники — и теперь пытается освободиться от навязчивых мороков прошлого...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-088594-7

© **Иванов А.В.**
© ООО «Издательство АСТ»

Я взглянул на жизнь и засмеялся.

Сёрен Киркегор

1

Всё, к чему бы я ни прикоснулся, холодное. Меня давно ничто не беспокоит. К сорока годам я развил такую скорость, что разваливаюсь на ходу. Но продолжаю подбрасывать уголь. *Вы себя убьете.* Я сам знаю. Разве мне можно это запретить? *Вы – сумасшедший.* Не я один. Безумие разлито вокруг. Оно в людях. Приходят и рассказывают... Что мне остается? Сижу, слушаю. Их истории отполировали мое сердце до гладкости древнего зеркала: помните, были каменные зеркала? Нельзя забывать такие вещи. С ними стоит жить. Иначе скоро въедем в хирургический рай. Оставьте ваши записки, уберите карандаш. Не трогайте меня! Перестаньте выть в уголке. Все плачут, я знаю. Плач стеной поднимается и затмевает небо. Я тоже там был. Увы, мне предписано возвращаться. Когда-нибудь в последний раз ты смахнешь с меня пыль и, потрепав по плечу, поведешь на убой, а за нами — война, и кто-то

попробует петь, а потом скажет, что не было ни одного музыканта, который не проехался бы по вене с утюгом. Я тебе подчиняюсь не потому что устал чувствовать, а потому что устал воевать. Открой свой несессер, там должно быть лекарство. С пустыми руками ты не приходишь, я знаю. Вечером был стол, за которым сидели трое. А месяцем ранее шагала молодая листва, отнимая у людей улицы. Город закрыт на обед, и что мне с собой делать? Стучаться в эти двери нет смысла, разве что подглядывать в людей сквозь замочные скважины. Загляни в меня! Видишь? Слова мои взлетают, как напуганные чайки, всё небо в пепле. Вчера был вечер. Шел снег, спешили машины. Потусторонняя мерцающая тишь. Кто-то продавал валенки и смеялся. Пьяная молодежь вчерашней листвы. Несколько дней после этого бушевал свет. Я был весь стеклянный. Пепел, в моей голове белый пепел сгорающего гашиша. Я усыпал весь стол. Его звали Жозеф, я помню, я рассказывал о нем, и все смеялись. Даже кошка на книжной полке — улыбалась, топорща усы, негодная. Некоторые люди как шкафы: чего в них только нет! а всё чужое да поношенное. В каждом человеке есть угроза для моей сущности. *Ты — параноик.* Да, я — параноик, ты абсолютно права. Свет обкатал меня. Гладкая пластинка, ни бороздки. Звук украли и распродали за гроши. Белые хлопья падали. Вишневый вкус улицы. Весна. Нас было трое. В каждом по семь бесов. Мы могли этот город. Этот город сам сдался. Елена пила с нами за троих и танцевала,

как проститутка. Не надо царапать меня карандашом, я сам знаю. В этом блеске есть что-то предательское. Этот блеск инобытиен и колюч. К черту поэзию! *Давай, сядь, говори. Где был, что видел?* Они хотели знать всё. Сажусь за стол, предчувствуя, как из меня выйдет с ветром. Зашторились снегом и пьем. День кончился гораздо раньше. Несколько месяцев назад вошел в кабаk на углу и встретил его. Друг детства. Он показал мне свою руку: фалангу мизинца откусил в приступе горячки. Знакомо. Сам боюсь. Но даже это не было началом. Он куда-то пошел. Развязался. Не набивался в спутники, не садился на хвост. Сам должен, сам. Попугачики в этом деле не нужны. Есть самоубийцы тихие, закроются и режут. А есть те, что всё выставляют напоказ. Не знаю, как сказать про него. Все всё видят. Но он отгородился. Он — внутри, замурованный в суицидальном пьянстве. Улыбался, показывая руку. *Откусил себе палец, представляешь?* Меня, говорит, потихоньку сплавляют туда, и головой — к звездам. Они мерцали, холодные. Теперь их нет. Снег. И не будет. Снег чертит... пунктир, пунктир, прочерк... не летит совсем — повис и кружит на месте. Ход замедляется, а потом станет, как будильник, и ночь никогда не кончится. Нас никто не разбудит. Мы будем там, с его пальцем. Все до одного. Когда-нибудь так и случится. Ведь это уже произошло с литературой и музыкой. Разве музыка не распродана? До последней ноты! Каждое слово на лотке. Всё взвешено, всё отмерено. Идите сюда, встаньте рядом. Слышите? Я тоже не слышу. Ли-

ства отшумела. Снег накрыл с головой. Я учусь ходить по воде. Теперь это просто. Там — Финляндия, а там — Россия. Вода. Всё просто, когда мыслишь формулами. Гораздо сложнее, когда приходят образы. Они режут, кромсают тебя, требуя плоти, и я даю им плоть. Натте! Только оставьте меня в покое! Сел на камень и вытянул ноги. В карманах мелочь, сенты, еще сенты. Тогда были кроны. Дни летели быстрее. Веселей. Ну, признайся, было веселей? Не знаю — каменное выражение. Ну, признайся! Пожимает плечами. *Nobody cares, John*.¹ Всем наплевать. Если бы умел каркать, накаркал бы себе неприятности. Но ничего не произойдет, потому что всё кончилось. Посижу тут. Волна, еще волна... Пересыпая из ладони в ладонь песок, песок... Поразмыслить над бездной. Гашиш держит прочнее гвоздя. Я рассказывал ей про цыгана Жозефа, она смеялась. Он был смешным и жалким. Возможно, потом она расскажет кому-то обо мне, и тоже добавит: он был смешным и жалким. Как Жозеф. Он продавал в Праге мороженое. Жена словачка. Трое детей. Их забросили черт знает куда. На север. Там был эфиоп. Единственный черный на весь *Skagen*. Мне нравился *Krohg*². «Крыши Копенгагена» (репродукция в палате Фурубаккена³). «Больная девочка» (в национальной галерее Осло). Шел беспечно. Глянул в сторону

¹ Никого не колышет, Джон (англ.).

² Кристиан Крог (1852–1925) — норвежский художник, некоторое время жил и работал в Скагене (Дания).

³ Психиатрическая клиника города Ларвик (Норвегия).

и окаменел. Она остановила меня взглядом. *Sykrike*¹ (чем-то напоминает Дангуоле²). Не умрет никогда. Блудливый холодок, предвестник горячки. Осока, песок, осока. Даже волосы — холодные. Всё, к чему бы я ни прикоснулся, заперто. Можжевеловый, сосны, камыш, шиповник. Стена. Вокруг одна сплошная стена. И белая-белая улица. С призраками. Один из них ты, поменяв род на мужской, шагаешь босая по снегу.

* * *

Он орал так, что я хотела звонить в полицию. Это была истерика. Настоящий экспресс. Его бы закрывали в психушке. На годик. Не помешало бы. Чего я там не видел? Чего вообще я еще не видел? Да о чем с ним говорить! Он же в прострации! Посмотрите в его глаза! Разговаривать с ветром нет смысла. Он невменяем. Замурован безумием. Это стена. А за ней плач. Вой. Вопли. Черный мат. Я собиралась звонить в полицию. Они бы никого не нашли. До меня было не достучаться. Это был другой. Доппельгангер³. Утром отмылся от этого приступа. Но. Сбрить чужое лицо так и не удалось. Сквозь глаза поблескивал вчерашний незнакомец. Эта новизна пленяет. И вещи все стали холодными. Скоро буду ходить и писать на стенах, как Мита-

¹ «Большая девочка» — картина Кристиана Крога, находится в национальной галерее Осло.

² Героиня романа «Бизар», встреченная героем в Хускего, поселении хиппи.

³ Двойник (нем.).

*Mais à qui tou raconter?
Chez les ombres de la nuit?
Au petit matin, au petit gris.¹*

Вот-вот, сумеркам и кошкам в черных комнатах. Что-то там есть. Что-то скребется.

Снег. Хлопья висят, как на ниточках. Тихонько подрагивают.

Everything is forbidden,² — вот к чему я пришел.

Спорить со мной бесполезно, да и некому.

Никак не прийти в себя. Помят припадком. Надреснут.

С волками выть.

À qui tou raconter?

Кто бы выслушал до конца! Всё: от Крокенского лагеря до кирки, — от Батарейной тюрьмы до принудки в Ямияла³... — До последнего слова.

Никого.

Со мной только слова, а значит, всё со мной. Ничто никуда не делось. И кто еще нужен? Луна в небе. Сигареты, чай. Бесшумный вопль надкушенного яблока. Глазок внутри. Так просто и ясно. Номер на двери. Номер статьи. Параграф такой-то. Это всё, что ты должен помнить. Шум прибора. Лед по эту сторону воды. Голоса в коридоре скребутся, как ленточки. Свет дробится, но не попадает в глаза; тьма крадется по водостоку, проскальзывает в брешь, как монетка в прорезь,

¹ Кому всё рассказать? Ночным теням? Раннему утру, рассветным сумеркам? (*фр.*) — Жан-Жак Бурнель, “*La Folie*”.

² Всё запрещено (*англ.*).

³ Ямияла — имеется в виду закрытая пенитенциарная психиатрическая клиника.

исчезает, не коснувшись ресниц; полутона отступают, но не уходят, они молчат где-то рядом.

Бесконечный мертвый час. Голодовка.

(Я — спичка, которой дают догореть, выслушивают до конца. Каждое слово — скрюченное тело. В каждой спичке своя история.)

Нифеля¹ на бумаге сохнут. Ловец стоит. Голуби поглядывают с крыш. Мы притихли.

Фашист сказал, чтоб не мелькали у решетки. Обещает, что рано или поздно прилетят... Они любопытные... Ты хоть мыло настругай, прилетят, а нифеля — за милую душу! К ночи попадется...

Голодовка делает стены двойными. Время становится плотней, оно тянется медленней, но в нем появляется смысл: счет дней подстегивает.

На третьи сутки сокамерники стали смеяться над моими историями, яростно сжимая зубы, в глазах появился блеск, который теперь роднит нас всех. Это блеск остервенения. Так блестят глаза у садистов. Мы все ощущаем себя в центре мироздания. Мы все готовы кого-нибудь истязать, голодаем, истязаем себя; соседние камеры голодают; третий этаж голодает. Баландеры опасно заглядывают и убираются, громыхая бидонами. Фашист довольный ходит по камере. Он всех заставил страдать. Я смотрю на него, как на Напо-

¹ Остатки вываренного чая.

леона, который за три дня на уши поставил нашу Бастилию. Он требует, чтоб я непрерывно рассказывал новые и новые истории. Сам пишет малявы. Ловит «коней»¹.

Я рассказываю с большим воодушевлением. Болтаю, как радио. Неутомимо. Ничего, пустяки, язык без костей — к радио в тюрьмах отношение бережное. Меня подхлестывает хохот. Все смеются. Секунды сгорают.

Рассказывай!..

В воздухе запах селитры. Молодые нарвитяне давятся от смеха, лупят картами по столу наотмашь. Фашист отправляет малявы, садится, помалкивает, затаенно улыбаясь; мне кажется, что он меня почти и не слушает; может, слушает, но думает о своем. В его голове что-то назревает.

...

Голодовка на тюрьме сродни запою или кокаиновой сессии: на пятый день не чувствуешь себя; мысли, кажется, не в голове возникают, а плывут где-то рядом, живут в сокамерниках, и, соответственно, их мысли входят в тебя с той же легкостью. Ко второй неделе все пропитаны друг другом, всех породнила одна болезнь.

...

Чифирим без конца, с каждым днем наращиваем обороты. Рвем на полоски простыни. Факела², давай факела... Кипятим. Зубы стучат; холодок

¹ Нити, лески, веревки, которые протягивают между окошками камер как способ сообщения.

² Лоскуты простыней, которые жгут, чтобы разогреть чай.